

АНКЕТЫ О ПУШКИНЕ

Мих. Зощенко

1. Я познакомился с творчеством Пушкина в гимназии, в школьной программе, но сказку „О золотой рыбке“ я знал с пятилетнего возраста.

2. Все сочинения Пушкина мне дороги сейчас в одинаковой степени, но по силе восприятия (сколько я помню) наиболее всего меня поразили письма поэта и повести Белкина.

3. В творчестве Пушкина я наиболее всего ценю умение необычайно кратко и просто, с большой художественной силой и убедительностью излагать свои мысли.

4. Меня больше всего интересовал огромный аналитический ум Пушкина, что наряду с высоким поэтическим направлением создало гениального писателя.

Наиболее трагический момент в его жизни — это по-моему катастрофа его молодой философии и невозможность (практически) осуществить новую в условиях его придворной жизни. Однако, были все внутренние предпосылки создать свою жизнь на новых основаниях. Это было видно по начатым литературным работам. По этим работам можно видеть, какую правильную (литературную) позицию занял поэт, подходя к сорокалетнему возрасту. История литературы имела бы роман о Петре I и целый ряд исторических работ в той художественной форме, которая была бы показательна и в наши дни.

5. Влияние Пушкина (в прямом смысле) на мою литературную работу не было. Но многие сочинения его всегда были для меня идеальными образцами. И благодаря этому в своей работе я всегда стремился к краткости, занимательности и простоте. И в этом (техническом) отношении влияние Пушкина на мою работу значительно.

Н. Радлов

Я не помню, когда и при каких условиях я впервые ознакомился с творчеством Пушкина, так же как я не помню, когда я начал впервые рисовать или читать. Я не могу указать на главнейшие встречи с Пушкиным, как не могу вспомнить первые впечатления от архитектуры Петербурга. Я также мало могу дать себе отчет о влиянии Пушкина на мое творчество и идейное развитие, как установить, какое влияние на мое физическое развитие имели утренние завтраки.

Мне кажется, что Пушкин это фактор биографии каждого из нас, он входит составной неотъемлемой и трудно определяемой частью в наше детство, формирует наше мировоззрение, дает критерий для оценок, сопутствует нашему развитию во все периоды нашей жизни. Без Пушкина мы были бы другими. Может быть, мне его заменил бы Диккенс, и я был бы англичанином?

Поэтому вопрос о любимых произведениях Пушкина и чертах его личности, наиболее мне близких, — это вопрос о состоянии моего развития на данное время, о моем возрасте. Мне думается, что каждый из нас должен пройти через всего Пушкина. Должен „больше других его произведений“ любить все его произведения. Я больше всего любил и „19 октября 1825 г.“, и „Медного всадника“, и мелкие драматические произведения, и „Пиковую даму“.

Сейчас меня интересуют больше всего письма, критические произведения Пушкина. Думаю, что в них мы могли бы найти неисчерпаемый источник оценок и указаний и для нашего советского искусства.

Меня интересует отношение Пушкина к изобразительным искусствам. Указывали на то, что интерес Пушкина к скульптуре значительно больше, чем к живописи. Мне думается, что причиной этому является низкий уровень русской живописи в его эпоху. Насколько чуток он был к переживанию картины, свидетельствует „сон Татьяны“, написанный, конечно, под влиянием Босха. Картина его школы, несомненно, висела в Тригорском (в чьих-то мемуарах она упоминается, как картина школы Мурильо, вероятно, потому, что это имя было в моде). Я хотел бы узнать от пушкинистов об отношении Пушкина и к архитектуре.

Илья Садофьев

Свое знакомство с Пушкиным я отношу уже к сознательному периоду своей жизни. Ибо заучивание наизусть некоторых сокращенных, приглаголенных и, естественно, тем самым искаженных стихотворений и отрывков Пушкина в школе настоящего понимания Пушкина не давало.

До подавляющего большинства крестьянской да и рабочей молодежи доходил в старое время только хрестоматийный Пушкин. И поэтому мы знали — „У лукоморья дуб зеленый“, но не знали всей поэмы „Руслан и Людмила“, мы знали хрестоматийный отрывок — „Горит восток зарею новой“, но не знали „Полтавы“, мы знали „На берегу пустынных волн“, но не знали „Медного всадника“, мы без запинки отбарабанивали учителю — „Птичка божия не знает ни заботы, ни труда“, но не знали „Цыган“... А уж о разъяснении учителем смысла заучиваемых пушкинских стихов и говорить не приходится.

Так, например, на протяжении многих лет у меня существовало убеждение, что отважный русский человек „по-книжному“ называется шведом, ибо — „Швед, русский колет, рубит, режет“... Запятая же на фоне нашей „высокой грамотности“ значения не имела.

Но всего курьезнее то, что первое знакомство с Пушкиным в сельской школе принесло неожиданное разочарование. И не одно. Прежде всего разочаровало то, что слышанную мною еще до поступления в школу о пастуха-старика „Сказку о рыбаке и рыбке“ я считал собственностью

этого пастуха, деда Ипата (впоследствии вошедшего персонажем в мое стихотворение „Замарина слободка“), а по утверждению учителя это оказывалось написано „сочинителем Пушкиным“. Мелькало предположение, что Пушкин — это тоже пастух, но другой деревни, ибо кто же, кроме пастухов, умеет сказки сочинять? Но пастух другого села Пушкин — грамотный, может и такую же сказку сочинить, и может записать ее.

Второе разочарование было в том, что „Прибежали в избу дети“, еще куда ни шло, похоже на сказку, но „Что ты ржешь, мой конь ретивый“ уже никак на сказку не похоже. А сказки нравились больше. А посему пастушеское бытие Пушкина бралось под подозрение, и сама личность этого сочинителя становилась необъяснимой, загадочной.

Однажды, набравшись храбрости, я спросил учителя:

— Как же это Пушкин сочинил сказку, когда сказки сочиняет дедушка Ипат?

Высокопарный ответ учителя не разъяснил моего недоумения, а больше запутал:

— Пушкин — сочинитель великий (что, к слову сказать, воспринималось, как — великий лгун, обманщик), а пастух — народ. Сочинитель берет свое творчество от народа и отдает народу. Понял?

Конечно, я ответил, что понял. Но не только ничего не понял, а еще сделал неверный вывод: я решил, что сочинители это действительно великие обманщики: сами ничего не делают, а только переписывают для школьника сочиненное народом. И, следовательно, их работа самая легкая.

Таким образом, ребятам моего времени и моего социального происхождения приходилось бороться за понимание творчества Пушкина в более позднем возрасте и самостоятельно, без помощи старой школы. И даже по окончании школы еще долгое время Некрасов (хотя бы тоже и хрестоматийный) для меня был куда ценнее, ближе, любимей и даже значительнее Пушкина. И не только идейно, но и как художник слова.

Заглянуть же по-настоящему в бездонную глубину пушкинского творчества я смог только к 20-ти годам моей жизни. И уже через Пушкина пришло понимание величия творческой мысли человеческого гения и колоссальной трудности поэтической работы. Более глубокое понимание Пушкина невольно и все настойчивее вызывало воспоминания о моем детском недоумении и невразумительной философии учителя — о сочинителе и народе-пастухе.

Да, только гениальный сочинитель может сказать:

Я понять тебя хочу,
Темный твой язык учу.

И лишь позднее, уже осмысленное изучение пушкинского творчества подготавливало не только к читательскому, но и профессиональному пониманию Пушкина.

Только с момента настоящего, пристального и глубокого изучения пушкинской поэзии начинается понимание всей неповторимой сложности пушкинского творчества, определяющего все богатство, все многообразие его поэтического наследия. Тривиально уже говорить о гениальности Пушкина, о его преобразовании русской поэтической речи, о его влиянии

на последующие поколения поэтов, о его свободолюбии, о его реалистической ясности, что тесно сближает его с нашим временем. Но нельзя не говорить о его вечном творческом беспокойстве. О его неустанной, упорной и непрерывной борьбе за ясность поэтической мысли, за „сложнейшую простоту“ поэтического языка, за высокое качество поэтической культуры, за умение мобилизовать и опозитизировать все средства речи для достижения поставленной цели... И как гениальный полководец, он только и мог и имел право сказать о мобилизации речевых средств:

...что слог, то и солдат —
Все годны в строй; у нас ведь не парад,
У нас война.

Пушкинскому умению организовывать поэтический материал, я уверен, будут учиться у Пушкина поэты еще многих поколений.

Для меня лично Пушкин является еще и объектом благородной творческой зависти. Ибо, будучи индивидуально-неповторимым, он в то же время многомотивен и, я бы сказал, многоинструментен. В этом отношении он еще никем не превзойден. Многотемных и многожанровых поэтов было немало и замечательных, не называя даже Лермонтова. Но такого многозвучного по своей различной в каждом отдельном случае тональности, являющейся в то же время частью общей, целостной гармонии, — такого поэта не было.

Стоит сравнить, ну, хотя бы: „Я помню чудное мгновение“ и „Стамбул яруы нынче славят“ или:

„Рсняет лес багряный свой убор“,
„Скребницей чистил он коня“,

чтобы было видно, что эти стихи написаны как бы различными, не очень-то похожими друг на друга поэтами. А таких сравнений можно выписать едва ли не столько же, сколько имеется названий пушкинских стихотворений.

Пушкин умел находить для каждой темы и свое, свойственное только ей, звучание, ритмическую структуру, хотя и в пределах одной и той же метрической схемы, свое словарное воплощение.

В этом отношении я Пушкина сравниваю с оркестром.

Пушкин, и пока только один Пушкин, был соединением всех поэтических инструментов, только один Пушкин был полнозвучным оркестром.

У нас не мало охотников найти для более яркого выражения и даже выпячивания своей „особо-особенной“ творческой индивидуальности свою дудочку. И пушкинской универсальности противопоставляется узкая специальность.

Ну, что ж, „у нас ведь не парад, у нас война“.

— Да здравствует Пушкин.

Читатель наш, всем известно, уже далеко не тот, о котором я говорил, вспоминая свое детство, доказательством чему служит хотя бы то, что лишь в наше время, лишь при советской власти по-настоящему оценен гениальный русский поэт Пушкин.

И, тем не менее, я предпочел бы издавать Пушкина для массового читателя не по-барски, а по-советски: что лучше комментировано, полней собрано, хорошо оформлено, — то массовому советскому потребителю.

Н. Б. Пиксанов

Совершенно не помню, как мы проходили Пушкина в школе. Конечно, заучивались наизусть и потом на всю жизнь остались в памяти стихи: „Зима. Крестьянин, торжествуя“, „Прибежали в избу дети“, „Что ты ржешь, мой конь ретивый“ и другие. Но в преподавании ничто не задело за душу и не запомнилось. Зато отлично помню, как лет десяти я бегал в книжный магазин на Дворянской (в Самаре) покупать на получаемые от матери 5—10 копеек книжки из павленковской „Иллюстрированной библиотеки“ — ценою в две, три копейки каждая. И сейчас живо представляю эти добротные книжки в бледно-голубой глянцевиной обложке, с неизменным портретом Пушкина в гравюре Матэ, с иллюстрацией на вкладном листке. Я любовно подбирал всю серию и замкнул коллекцию „Письмами“ Пушкина — за 25 копеек; впрочем, перечсть письма мне тогда было не под силу.

Постарше, лет 12-ти, у букиниста на Троицком базаре я купил панфилинский одностомик Пушкина. По нему перечитывал стихи и прозу, им пользовался, когда писал школьные сочинения, по нему заучил, по собственному почину, „Моцарта и Сальери“. С тех пор люблю литературные одностомники.

Впрочем, должен сказать, что в отроческие годы больше, чем Пушкин, меня увлекали Лермонтов, Некрасов, „Горе от ума“. Высокая простота и ясность Пушкина не волновали так, как лермонтовский напряженный лиризм или острые монологи Чацкого. Так позднее, в юности, в Эрмитаже, Рафаэль меньше мне говорил, чем Рембрант.

Тусклое преподавание литературы в университете (Дерптском) ничего не дало по Пушкину. Зато в соседнем Карлове, в полуразрушенном болгаринском архиве молодым студентом (35 лет назад!) я нашел пачку писем Греча к Булгарину — и из них раскрылся неведомый пушкинистам эпизод переговоров Пушкина с Гречем о совместном издании газеты. Найденный материал лег в основу моей первой пушкиноведческой работы.

В анкете поставлен вопрос: „Какие черты личности и какие этапы биографии Пушкина вас особенно интересуют?“ Со студенческих лет меня волнует политическая драма писателя, история отношений Пушкина с правительственной кликой. Гнусные письма Бенкендорфа к Пушкину доселе переживаю словно мою личную беду.

Пушкиным-художником я овладевал медленно и с трудом. С детства нравились „Дубровский“ и сказки. Музыкальной гармонией сказки о Салтане не устаю восхищаться и доселе. Всегда любил „Моцарта и Сальери“. В зрелые годы углубилось восприятие пушкинской лирики — с ее откровениями глубочайшей интимности, как „Стихи, сочиненные ночью“, как „Воспоминание“ („Когда для смертного умолкает шумный день“), как „Пора, мой друг, пора“. В те же годы пришло понимание глубокой социальной темы „Станционного смотрителя“, „Сцен из рыцарских времен“.

Многое давалось с трудом — в силу одной особенности пушкинского творчества: необычайной сосредоточенности, сжатости, лаконичности изложения. Совестно литературоведу признаться, но факт: только в позд-

нее время открылась мне психологическая содержательность, сердечное крушение старушки Лариной, замкнутое в немногих, скупых стихах. Только в 1921 году, перечитывая „Онегина“ для моей „Пушкинской студии“, я впервые воспринял душевную драму Евгения, изложенную в восьмой главе, как и чудесный композиционный параллелизм писем Евгения и Татьяны. Еще позднее раскрылось большое достижение пушкинского реализма — образ рассказчика в „Выстреле“, отставного безыменного армейского офицера.

В анкете спрашивают: „Какое, по нашему мнению, значение пушкинского наследия для советского искусства?“ Отвечаю: значение прежде и больше всего в ясности — простоте — правильности, а потому и в глубине. Именно простоту — правдивость завещал Пушкин своим наследникам-писателям. И это нашло горячий отклик. „Прекрасное должно быть просто“, — твердил Толстой. „Модниками и фокусниками слова не увлекайтесь. Правда и простота — родные сестры, а красота — третья сестра“, — учит литературную молодежь Горький.

Но мудрая простота — трудна. Пушкин и сам поднимался к ней с большими усилиями. Его современники часто прямо не в силах были не только освоить, но и понять правдивую простоту Пушкина.

Изучение творческой правдивости, художественного реализма разумею первоочередной проблемой пушкиноведения. И освоение пушкинского реализма считаю трудным для литературоведов так же, как и для литераторов. С тревогой замечаю, как анализ творческого реализма постоянно подменяется более привычным анализом реалистического мировоззрения. Но необходимо научиться исследовать художественное творчество.

На путях такого исследования одним из ближайших этапов считаю изучение образов простого человека в творчестве Пушкина. Диалектика Пушкина глубока и сложна. От старого, феодального мира он медленно и трудно двигался к миру новому, и в этом восхождении ступенями становились образы крепостного дядьки, няни, станционного смотрителя, гробовщика, канцеляриста и т. д. Такими образами Пушкин перекликался не только с Гоголем и молодым Достоевским, но и с демократической литературой шестидесятых годов.

Два слова о типе издания для массового читателя. Одного типа не может и не должно быть. Необходимы десятки самых разнообразных изданий: для школьников, для студентов, для колхозников, для высококвалифицированных рабочих и т. д. — издания со вступительными статьями, с комментариями и проч. Но среди таких изданий мне мечтается еще одно: „Избранный Пушкин“, „Пушкин для чтения“ — не для первого ознакомления, не для учебы, но для художественного наслаждения. Не надо здесь никаких „черновых редакций“, ничего третьестепенного, — только одни совершенные жемчужины пушкинского творчества. Знаю, как труден, спорен такой отбор. Но надо попытаться это сделать.

Антон Шварц

Работа чтеца над Пушкиным отличается от работы над большинством других авторов одним специфическим ощущением. Это ощущение — глубокая уверенность в том, что в тексте нет ни одного *случайного*

слова, что для каждой мысли автором найдено наиболее полное, точное выражение. Поэтому, когда наталкиваешься на какое-либо не сразу ясное место, работаешь над его истолкованием с полной уверенностью, что причина неясности лежит в недостатке твоего исполнительского понимания, а не в том неточном попадании слова в мысль, каким, вольно или невольно, грешит часто даже очень высокая поэтическая речь наших современников. Над пушкинским текстом можно работать, как работает физик над явлением природы, в полной уверенности, что в основе его лежит не произвол, а сложная закономерность. Это дает очень большую творческую радость.

Социально-исторический реализм пушкинского мышления делает каждый создаваемый им образ как современной ему действительности, так и исторический необычайно конкретным и познавательно-ценным. Поэтому художник-интерпретатор, работающий в категориях социалистического реализма, меньше всего при работе над Пушкиным вынужден делать скидку на историческую обусловленность пушкинского творчества, и в огромном большинстве случаев ощущает Пушкина как необычайно глубокого и живого современника.

Я всегда люблю тем, как точно и полно даны социальные и даже экономические характеристики „Графа Нулина“ или „Евгения Онегина“. В них человек дается как закономерное единство, начиная от его источника доходов и до сложнейших проявлений индивидуальности. Этим свойством не обладает никто из пушкинских современников, в отдельных взлетах поднимающихся до пушкинских высот в области формы, — ни Баратынский, ни Языков, ни Тютчев. . .

Сочетание высокого поэтического мастерства и гениального ощущения жизни как целого, состоящего из множества конкретных реальностей, создало в русской литературе Пушкина как единственного автора большой поэмы и романа в стихах. Кроме Некрасова, пожалуй, у нас нет ни одного поэта, который одолел бы эту сложнейшую форму. Говорю об этом с грустью заинтересованного профессионала и с тем большей благодарностью Пушкину, что художнику, современнику великих исторических событий, настойчиво хочется дышать этим огромным поэтическим дыханием эпоса.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СОВРЕМЕНИК

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
Ж У Р Н А Л

Я Н В А Р Ь • 1 9 3 7

1

ЛЕНИНГРАД

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“